

Юрий ГУДУМАК

Юрий Гудумак родился в молдавском селе Яблona в 1964 году. Окончил геолого-географический факультет Одесского университета, работал в Институте экологии и географии Академии наук Молдавии. Автор восьми поэтических книг. Лауреат премии Союза писателей Молдовы (2012). Стихи публиковались в изданиях «Новое литературное обозрение», TextOnly, «Воздух», «Цирк “Олимп” + TV», «L5», «Флаги», «Волга», «Новая Юность», «Новый Берег», «Literrатура», «Артикуляция», и мн. др., переводились на английский и румынский языки.

ПОЛЕ В МОЛДАВИИ

К генеалогии озарений

От места, где я стою,
до селитебного контура
порядка двух – двух с половиной километров,
однако дорога до дома тянет на три с гаком,
плюс удваивается в протяженности
за счет изгибов и перепада высот.

Ибо даже солнечный луч Пуанкаре,
будучи прямым вчера, перестает быть таковым завтра,
если какое-нибудь физическое условие изменилось.

Чтобы преодолеть это расстояние,
составляющее, не знаю, столько-то раз
взятую длину моего тела,
мне надлежит
спуститься в близлежащую долину, dna которой не видно,
взобраться на поросший саванноподобным редколесьем
округлый холм, не навестить который нельзя
из-за открывающихся оттуда
красот поэзии и географии,
пробраться с его косогора
в следующую долину – Соленого Воронова ключа,
затем, минуя зеленое поле справа, подняться
на южный отрог Дождливой, оттуда добрести, наконец,
до расположенного за отрогом илистого водоема Камболи
и, обойдя его болотистую оконечность справа,
совершить еще один подъем – в село.

Через неделю-другую
зеленое поле превратится
в золотисто-желтое цветущих подсолнухов.
Картина обещает быть, абсолютно точно,
феноменальной.

И вот, раскидываю я умом
стоя здесь: взлелею ли я желание

проделать вторично такой-то путь сюда и обратно,
по жаре сольстиции* (*солнцестояния), сложением
столько-то раз взятой длины моего тела,
или, как это тоже можно назвать,
не прилагая усилий воображения, –
действием, обратным сложению, –
вычитанием.

Сказать, что зеленое превратится
в золотисто-желтое цветущих подсолнухов, –
значит сказать, что цвет
сохраняет характер объективности.
И если это происходит, то оттого, что люди одарены
приблизительно одними и теми же чувствами:

оно будет золотисто-желтым, как у Ван Гога.

К генеалогии озарений: из первых рук

Такое еще бывает
в продолжение унылой весенней растительности,
не обещающей, в общем, иного откровения цвета, кроме зеленого,
как вдруг за ближайшим бугром один в одного –
ярко-желтый, ослепительно солнечный,
трапезиевидный Ван Гог.
И это, конечно, не подсолнух, но что?
По великому счету, вблизи-то рапс
не представляет особенной прелести,
но на расстоянии, в обрамлении ландшафта,
преломленный сложной оптикой атмосферы,
в состоянии дать восхитительный, сбивающий с толку,
по-настоящему вангоговский цвет –
из первых рук.

Впервые я
обнаружил это прошлым летом,
шныряя туда-сюда глупой затее ради
и оказавшись после всех приключений здесь,
на каком-то отшибе, представлявшемся
несусветной далью.
Позади уже были
умопомрачительные зрелища
сложнейшего рисунка остистых фактур,
оттенков зеленого и нарождающегося золотого,
когда хлеба уже выколосились и наливают зёрна;
созревшие и пышущие жаром нивы осыпающегося зерна;
пшеничные солнцепеки, идя которыми зной еще нестерпимее
и все это как еще один крах цветовой парадигмы,
и он же – успех.

Смысл,

о чем на каждом шагу
свидетельствует сама жизнь,
а не только культура, искусство и литература,
рождается благодаря вариации. И что? А вот что.
Я оказался на бывшей периферии зрения, в фокусе которого,
в трапециевидном сплетении живописнейших складок местности,
теперь находилось поле
вовсю цветущего подсолнечника.
Не пейзаж, а, буквально сказать, озарение.
Орифламмовый, шафранно-желтого пламени жар,
тысячекратно усиленный воздушной стихией – ее
эфмерной ясностью и стремительно изменяющимися
градиентами атмосферного хроматизма.
Помню, как посреди июльского пекла,
настигаемый атлантической бурей, я тогда прошептал:

«Здравствуй, Винсент...»

Фотопериод

Перебравшись
по ту сторону Дождливой горы,
изменений погоды и атмосферного хроматизма,
я погружаюсь в такое излучение света и тишины,
что, восхищаясь тамошними красотами,
пребываю в уверенности:
на сегодня бессонница обеспечена.
Один сплошной фотопериод летнего солнцестояния
без какой бы то ни было реальной периодизации
или хотя бы аллюзии на смену дня и ночи
и перепады освещения.

Осыпающееся золото
перезревших пшеничных нив.
Шафранно-желтого пламени жар
вовсю цветущего подсолнечника. Громадная,
так что в средней трети Дождливую впору назвать Бобовой,
густолисто-зеленая, как еще одна история цвета,
плантация сои.

И все эти углы мира,
хорошо подогнанные
к границам сельскохозяйственных угодий,
тасующихся из года в год в многолетней системе севооборота,
приводятся к единому соответствию –
счастливому сочетанию мест –
чем-то вроде рельефных карт из папье-маше,
испещренных фантастическим лабиринтообразным рисунком
гребневых противоэрозионных террас...

Террасы опоясывают гору,

принимая вид ее искаженных горизонталей;
окаймляют берег серебристо-матовой глади озера,
размывающего их своими перламутровыми испарениями;
имеют тенденцию скрадываться, одновременно обретая –
не чудо ли? – звуковую суть
в шелесте листьев акации, пшата,
саванноподобной растительности всех оттенков
засухи и бездождья.

Не говоря уже о виноградниках и садах.
О колодцах, остатках разрушенных дамб,
сухих руслах ключей.

Что тут еще сказать, глядя и глядя
с верхотуры Дождливой горы, кроме того, что такие
супрематические композиции ландшафтных контуров –
да еще и в различных плоскостях, охватывающих
периоды времени,
на которые так щедро геология, –
пишутся не *за* год и не *за* два.
Они создаются поколениями людей.

Только то, что ограничивается поверхностью,
еще имеет шанс расплющиться в фотоснимок,
но уже за изобретением фотографии
следуют неподвластные ей области кубизма.
И от зрения абстрагируется понимание того,
что графически лишено смысла.
И особенно здесь.

В левом верхнем углу фотоснимка
я узнаю знакомый мне по двум предыдущим фото
супрематический контур.
А еще обнаруживаю,
что со смещением камеры вправо
в поле зрения попадает окончность контура селитебного.
Произведя в уме на живую нитку склейку трех фотоснимков,
я мог бы составить представление
о почти панорамном виде, или, если угодно, – о том,
как дальнее определяется с помощью ближнего,
а ближнее – с помощью дальнего.
Потому что селитебный контур,
о котором я говорю, –
Яблона.

Тревеллинг
не тревеллинг,
очевидно одно.

Движение камеры с востока на запад,
в направлении Яблоны и закатывающегося солнца,
ставит меня в непростые, говоря фотографическим языком,

условия контражура.
Или – контрового света.

Потому что тело
уже лишь придаток глаза, а глаз – фотообъектива,
я механически-инстинктивно утыкаюсь взором
куда-то ниже линии горизонта, но в конце концов
именно так получаю кадр,
который делает день.

Поле в Молдавии

Наряду с известным супрематическим контурным полем,
приводящим на ум Малевича, Мондриана и Ива Сен-Лорана,
это одно из самых красивых яблонских полей.
Причем при любом варианте севооборота.
Даже когда оно убрано,
оно впечатляет. И похоже, что дело
в особом расположении поля и характере его поверхности,
отчего оно вызывает в представлении какую-то
цифровую 3D-модель рельефа.

То есть вне зависимости от того,
соя это, подсолнечник или кукуруза.

А когда-то здесь выращивали
отличный табак,
каковых плантаций табака
в Яблоне было превеликое множество.

Помню, как меня лет с пяти-шести
тетушки мои брали с собой
низать табачные листья
в громадные увесистые снизки,
развешивать снизки сушиться в «касуцах».
Царившая атмосфера в этих «касуцах» мне, мальцу,
казалась едва ли не сверхъестественной.
Длинные навесы для сушки табака,
десятка в два рядов,
тянувшихся на полторы-две сотни метров,
окутывало плотное облако табачных испарений,
ароматы которых изменялись от зеленого листа –
до горчично-медового и, дурманя, приводили в известность
семь основных ценностей стереохимической теории запахов:
эфир, камфару, мускус, цветок, мяту,
острый и гнилостный.

По современным меркам медицинской науки,
крайняя степень вредности, абсолютная-де
противопоказанность детям и т. д.

Но тогда такое
не брали в голову. И «на норму»,
по понятию того времени,
ходили семьей от мала до велика.
Была большая страна, был план...
И поверит ли кто-то теперь тому,
что на долю крошечной Молдавии приходилось
ни больше ни меньше как сорок процентов
общесоюзного производства табака?

Ломка табака, надо сказать, –
вообще отдельная тема.
Тело покрывалось липкой табачной смолой,
смешанной с цветочной пылью этой культурной травы,
грязью и собственным потом в тридцатиградусную жару.
А после тяжелого рабочего дня
надлежало еще хорошо постараться,
чтобы ее отмыть. ...Да и то зачем,
если завтра в поле?

Не иначе,
если не так,
потому что это так,
читаешь бывало старика Леви-Стросса,
писавшего приблизительно в то же время
о табачных медах Амазонии,
и вспоминаешь наши.

В прошлом году была соя,
в этом – подсолнечник...
В следующем – хорошо бы кукуруза
с ее неповторимым оттенком золота.

Впрочем, думаю я,
не помешало бы заглянуть сюда и нынешней осенью,
когда подсолнечник весь созреет и высохнет
и даст, по теории, неплохой коричневый.

***Loco citato*: Поле в Молдавии**

Как реальное распределение масс в рельефе,
влияющее на распределение света и, как будет показано,
на позицию наблюдателя* (*а не только наоборот),
поле в Молдавии дает бесконечно новые вариации
уже известных форм.
Обретающее яркие рельефные черты
в зависимости от освещения, расстояния и угла зрения
и потому прекрасное в любую погоду, в любое время года,
при любом варианте севооборота.

Спускаясь в распадок

и поднимаясь к гребню, схлестываясь
с плотностями и массами в головоломных ракурсах,
я терпеливо толкую поле
как своего рода полиморфное, способное принимать
бесконечно разнообразные формы пространство –
картофелеобразное тело, и никогда – куб.

Существование одних
не более сомнительно, чем существование других.
Но не иначе, как только через непосредственный опыт,
развертываемая шаг за шагом протяженность,
иначе говоря – отвечающая моей сбивчивой походке,
предстает как последовательность
неподвижных положений.

Внимая ударам сердца
и в соответствии со страхом задохнуться,
соразмерно передышкам в виде пауз и статики,
когда образное ожидание переходит
в приостановленное видение,
поле живет в сложной, подвижной,
зависящей от угла зрения взаимосвязи со мной.

Эта древняя координация глаза и точки его опоры,
находимой им в плоскости земной поверхности,
почти магическим способом*
(*как оптическая мышь – цифровую 3D-модель рельефа)
помогает облечь поле в форму, очертания и явь.

Неподвижное, а точнее –
уступающее себе место своей неподвижности,
что само по себе уже есть некоторое подобие сдвига,
поле вовлекает меня в это движение.

Как язык, постоянно меняющий управление,
уже не я, а поле определяет мой следующий шаг.
Потому что, видя поле в трехчетвертном повороте,
я уже ясно представляю себе,
как оно должно выглядеть в профиль.
Так, показывая движение, в котором субъект
перестает играть определяющую роль, меняясь, поле
меняет – насколько же более это так – меня.

Действительность,
не нуждающаяся в объяснении.
А по сути – то, что я писал в середине нулевых,
но что далее следует процитировать уже без купюр.

Оптическая освоенность пространства
не является какой-то характеристикой,
необходимой для того, чтобы идти быстрее.
Напротив того –

возможности выявлять его зримые образы
напрямую зависят от нашей «способности цепенеть».
Замри мы – и в такое мгновение внезапной оторопи*
(*сложная категория – не испуг и не удивление)
столь переменчивый пейзаж*
(**loco citato*: Поле в Молдавии) оставляет в нас
впечатление чего-то неподвижного и вечного,
которое мы распознаём
как чувство родины.

Окаторп: несуществующая деревня, окруженная восемью полями

На расстоянии одного-двух-трех-четырёх километров
система Дождливой горы – колодец, старая дамба,
сухое русло ключа –
в очередной раз репрезентирует неисчерпаемость смыслов.
Наиболее подходящий здесь, разумеется, визуальный.
Как пространственный аспект теории,
когда о ней нет надобности
распространяться.

Сглаживающая матрица расстояния
в применении к матрице исходных данных,
ее атмосферный фильтр,
деформирует ближайший
предлежащий квадрат с километровой стороной
таким образом, что следующий за ним, претерпевая анаморфоз,
напоминает ромб, следующий за ромбом видоизменяется
в параллелограмм, параллелограмм, как следует ожидать,
переверстывается в решетку –
знак решетки, хеш-символ,
или, пользуясь более общей формулой,
окаторп.

Невесть какая
несуществующая деревня,
окруженная восемью полями,
окаторп является сглаженной, обобщенной,
генерализованной версией исходной структуры –
то есть, по сути дела, не чем иным, как хештегом.
Или, иначе, – что более примечательно и не менее удивительно –
абсолютным критерием связности и непротиворечивости,
позволяющим рассматривать километровый квадрат
в ветровой тени Дождливой горы
как эквивалент километровому квадрату
в окраинно-африканском углу Египта.

Того требует дело,
коль скоро удаленность их создает или их искажает,
подобно тому как время их обнаруживает

или скрадывает –

ближайший предлежащий квадрат с километровой стороной
как серию сглаживаний карты
путем последовательного применения
сглаживающей матрицы расстояния:

исходная карта (*a*),
сглаженная карта (*b*),
дважды сглаженная карта (*c*).

Трижды сглаженная карта (*d*):

не пейзаж, а, буквально сказать, озарение –
некая вытянутая выпукло-вогнутая горизонталь
из ветровой тени Дождливой горы
и пронизываемой солнцем Дождливой горы,
полупрозрачной кристаллограммы
из костеносных отложений и осадочных слоев,
стратифицированных, разрушенных и распыленных.

Хештег-преобразование
исходной географической поверхности –
ниоткуда не следует,
чтобы его нельзя было описать
ни больше ни меньше как через попытку составлять карты,
пренебрегая требованиями картографии, –
в действительности означает
критическую фазу в осознании пространства.

Критическую фазу,
возможно, не менее важную,
чем та, которую переживает
еще лишенный данных опыта*
(*которые он приобретает относительно места в пространстве
при помощи известных движений тела и осязания) младенец,
или чем та, которую он испытывает, переходя
от простых действий к составлению схемы
и от топологических понятий –
к понятиям евклидовой геометрии.

Здесь намечается переход
от евклидовой поверхности
к поверхности, вообще говоря, неевклидовой –
поэтической, технико-экономической, какой угодно,
а по большей части – обусловленной возможностью контактов
и личными соображениями,
и в этой, меняющейся, мере –
коррелирующей с переменной расстояния,
имеющей для того или иного местоположения
неисчислимы следствия.

О таком местоположении
можно уже сказать, и это позволило мне сказать*
(*неопубликованная работа):
хештег его знает где.

Того требует дело,
коль скоро в обратном ее применении
сглаживающая матрица расстояния возвращает снова
к исходной карте в серебристых оттисках
на соленой бумаге.

В них узнаваемы:
точечные конфигурации редколесий пшата
и сложные ячеистые – пятен полыни,
криволинейные – гребневых противозрозионных террас
и террасовидные – изотерм...

Террасовидные – изотерм,
не допускающие далее избыточной определенности
одинаковой средней температуры лета, древовидные –
пересохших Вороновых ключей.

Крайняя трансфинитная оконечность территории

Крайняя трансфинитная
оконечность территории.
Почти детерриторизованный пейзаж.
Один очертя голову шаг от пейзажа до озарения.

Чего бы то ни стоило для многих
из моих благих возвышенных описаний мест,
надо очень хорошо себе представлять всю эту кинематику*
(*раздел механики, в котором движение тел
рассматривается только с геометрической стороны,
без учета их массы и независимо от приложимых к ним сил),
при чрезвычайно запутанном-то рельефе, на солнцепеках
в тридцатиградусную жару,
когда я перехожу от объема
к глубине, и далее – к свернутой плоскости,
разворачиваю поле из плоскости в линию горизонта.
Ну, или оно – меня, для кинематики без разницы.

Тараща глаза на краю уступа
и высоко мечтая. А почему бы не взять в кадр,
как гипотетическую структуру
и внутреннее сложение линии горизонта, –
недолго думаю я, – и это дикое роскошное разнотравье,
нарезанный террасами склон – монументальный ленд-арт,
привет из прошлого?

Старая двадцатипятитысячная карта,

1969 года, которую я держу перед собой,
удостоверяет в невероятности факта, что это тоже Яблона,
чьи исчезающие очертания едва уловимы, но еще видны.
При фотоувеличении, достаточном расширении
и минимуме стохастического цифрового шума
справа на экране цифры хорошо заметен
громадный куполовершинный массив, парящий
над дальней периферией, который в таком именно виде –
полупрозрачного драгоценного голубого камня –
больше принадлежит нам,
чем месту, на котором расположен.

Как и хайтековский призрак
романтически возвышающегося гигантского ветряка
на фоне дивных отлогих холмов
у самой линии горизонта.

В сторону осени: рисовальщик сложных комплексных карт

Знойное марево августа и его подстилающие поверхности,
порождающие в представлении незабываемые* (*длящиеся),
незабываемые в смысле становления памяти
и, соответственно, – времени,
перевернутые картины.
Подстилающие поверхности,
которые выглядят ярче, чем небосвод.

Для меня и сейчас загадка,
как эти точечные конфигурации
редколесий пшата, сложные ячеистые пятен полыни
превращаются в иссера-голубые дымчатые гризайли осени
в серебристых оттисках на соленой бумаге,
а расплывчато-сетчатые и ребристые отдаленных полей –
в перетертый акрил, в их запутанные очертания
желтовато-бурого материка.

Иногда геометрия агроландшафта –
это еще и возможность нарезать фрагментов,
каждый из которых обладает полнотой отдельной картины.
Но мало-помалу ввиду той же возможности
она научает мыслить фрагментами
как цельными кадрами.

И какие-то интуитивно узнаваемые статистические параметры
можно пытаться документировать, насколько уже реальнее,
по мере того, как меняет цвет
поле созревающего подсолнечника.

Нет, дело даже не в стильном сочетании
оттенков желтого и оттенков коричневого.
А в проявляющихся таким образом

текстурах, фигурах, принтах.

Опираясь на парадокс, их можно переинтерпретировать и как нейронные сети.

Неоднородность окраски,
обусловленная неравномерностью вегетации,
зависит, иначе и не бывает, от целого комплекса факторов:
крутизны склонов, их экспозиции, особенностей
микрорельефа, пестроты почвенного покрова,
гранулометрических, гигроскопических
и физико-химических свойств почвы,
условий увлажнения и распределения
солнечной радиации и прочих других.
Включая способ организации производства
и сам процесс – агротехнические приемы обработки
подстилающих поверхностей*
(*грунтов и растений).

Итог этого
кажется простым и ясным:
если не учитывать того,
что подсолнечник здесь не более чем хороший индикатор –
рисовальщик сложных комплексных карт.

Перво-второй номер кукурузной фотосерии

Иногда геометрия агроландшафта –
это еще и возможность нарезать фрагментов,
каждый из которых обладает полнотой отдельной картины.
Но мало-помалу ввиду той же возможности
она научает мыслить фрагментами
как цельными кадрами.

Вроде этого,
связанного с равномерно ускоряющимся движением,
подобным восходящему ряду чисел. Ну уж это завтра,
что неспособного его ни ускорить, ни задержать.

Перво-второй номер кукурузной фотосерии.

От практик межевания –
к абстрактным геометрическим интуициям:
вписать холм в треугольник, край кукурузного поля –
в перпендикуляр к нему.

Но, конечно,
все гораздо сложнее.

Я говорю о кукурузной фотосерии,
не менее отпавляющейся от первого, чем подступающей ко второму,

в то время как речь следовало бы вести о фотологии.
Кукурузное поле в осеннем слое
своей наивысшей отражательной способности*
(*максимальной величины альбедо) можно сравнить
только с чистым излучением света. Шелестящего света,
завернутого в сухой кукурузный лист.

Именно так я делал,
воображая себя и осень
в качестве взаимопревращающихся,
когда мне не сравнялось еще и шести:
заворачивая в сухой кукурузный лист
щепоть измельченных в крошку
магических трав с добавкою из коры...
приучая себя к удовольствиям памяти, зрения, слуха,
в особенности же к тем, для которых необходимо
себя образовать.

Что я думаю,
глядя на этот пейзаж, пейзаж-оммаж,
в неровном рассеянном свете осени? Много чего.
Но одно можно сказать совершенно точно не обинуясь:
здесь на протяжении веков рождалась поэзия,
о которой мир не имеет
ни малейшего представления.

Вглубь территории

Какая ни есть, а даль,
развившаяся исторически
и сформировавшая наш визуальный достаток,
в ту и в другую и в третью сторону не вызывает у нас
никаких особенных чувств,
кроме смутных, соразмерных темным дебрям генеалогии,
ни по какой иной причине не подлежит дроблению на части
и переходит по наследству как перцептуальное постоянство
формы.

Но не степеней света, но не оттенков цвета.

Такова ее переменная расстояния.
Ее крайнее выражение –
тотальная недифференцированность,
представляющая собой простор, как впервые
подлежащий освоению и цивилизации и измеряемый,
словно перед нами задача отыскать то место, где мы уже есть,
«осознанием» или *cogito*.

Связано ли это с разверткой пространства
в его имманентной дифференциации на местности?
Тогда не столь уж нелепо вообразить себе череду Других,

«владения» которых, как наследный удел,
повторяют контуры прежних.

Земли,
на протяжении веков перераспределявшиеся
посредством войн, судебных тяжб и браков,
теперь они перераспределяются не иначе, как
растворяясь в неподвижных далях
или ускользая в переливах мест,
времен года, погоды и света.

Тучные нивы
переходят в долгий нерегулярный пар,
обращенные в залежи поля сменяют кустарниковые пустоши,
а карликовый вяз и шиповник
превращаются в саванноподобное редколесье,
куда во время недорода мы отправляемся на поиски
дикорастущих абрикосов и слив,
орехов, сгущенного в сотах меда –

вглубь обширнейшей территории,
несоизмеримой с количеством населения,
или, в чисто формальном плане, по умолчанию или эксплицитно, –
где плотность агломерата, пропорционально его объему,
слишком мала, чтобы, если это только возможно,
использовать каждый вершок земли.